



ГЛАВА ПЕРВАЯ, написанная автором исключительно в силу необходимости

Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков.

Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, двадцать три и Марютка.

Сто девятнадцать и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка, меж змеиных саксауловых петель и красных прутиков тамариска.

Когда доложили есаулу Бурьге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво:

— А хай их! Не гоняться, бо коней морить не треба. Сами в песке подохнут. Бара-бир!

А малиновый Евсюков с двадцатью тремя и Марюткой увертливым махом степной разъяренной чекалки убегали в зернь-пески бесконечные.

Уже не терпится читателю знать, почему «малиновый Евсюков»?

Все по порядку.

Когда заткнул Колчак ощеренным винтовками человеческим месивом, как тугой пробкой, Оренбургскую линию, посадив на зады обомлелые паровозы — ржаветь в глу-

хих тупиках, — не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож.

А время пришло грохотное, смутное, кожаное.

Брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледь, в дождь и ведро, в пронзительный пулевой свист человеческому телу нужна прочная покрывка.

Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки.

Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет.

И не стало в Туркестане такой краски.

Пришлось ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков, которыми расцвечивали в жар-птичьих сполохи воздушные шелка своих шалей ферганские узбечки и мохнатые узорочья текинских ковров сухогубые туркменские жены.

Стали этими порошками красить бараньи свежие кожи, и запылила туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги — малиновыми, апельсиновыми, лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми.

Комиссару Евсюкову судьба в лице рябого вахтера вещеклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые.

Лицо у Евсюкова сызмалолетства тоже малиновое, в рыжих веснушках, а на голове вместо волоса нежный утиный пух.

Если добавить, что росту Евсюков малого, сложения сбитого и представляет всей фигурой правильный овал, то в малиновой куртке и штанах похож — две капли воды — на пасхальное крашеное яйцо.

На спине у Евсюкова перекрещиваются ремни боевого снаряжения буквой «Х», и кажется, если повернется комиссар передом, должна появиться буква «В».

Христос воскрес!

Но этого нет. В пасху и Христа Евсюков не верит.

Верует в Совет, в Интернационал, чеку и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах.

Двадцать три, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы как красноармейцы. Самые обыкновенные люди.

А особая между ними Марютка.

Круглая рыбачья сирота Марютка, из рыбачьего поселка, что в волжской, распухшей камыш-травой, широководной дельте под Астраханью.

С семилетнего возраста двенадцать годов просидела верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье, в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряноскользкие сельдяные брюха.

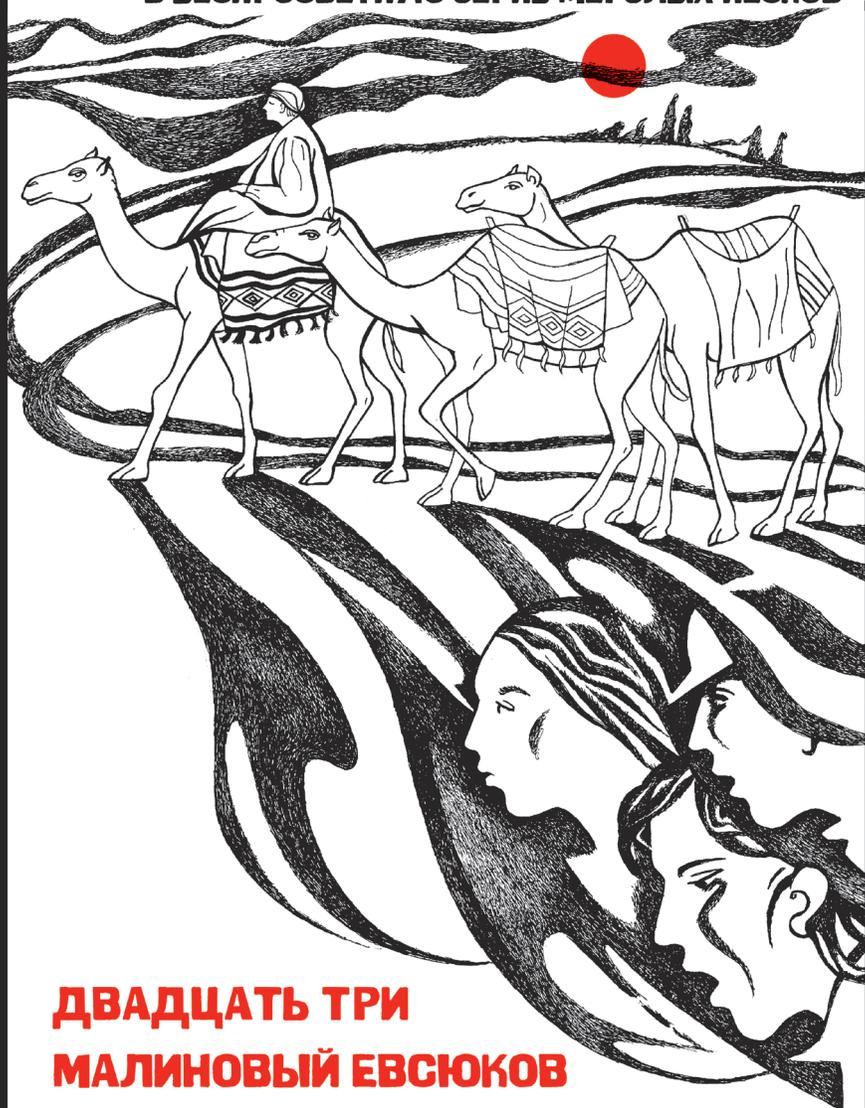
А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы.

Сперва выгнали, после, видя неотступно ходящей каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой, на равных с прочими правах, но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом.

Марютка — тоненькая тростиночка прибрежная, рыжие косы заплетает венком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткины шалые, косо прорезанные, с желтым кошачьим огнем.

Главное в жизни Марюткиной — мечтание. Очень мечтать склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клочке, где ни попадетсЯ, выводить клонящимися в падучей буквами стихи.

**ТАКИМИ БЫЛИ УШЕДШИЕ НА СЕВЕР,
В БЕСПРОСВЕТНУЮ ЗЕРНЬ МЕРЗЛЫХ ПЕСКОВ**



**ДВАДЦАТЬ ТРИ
МАЛИНОВЫЙ ЕВСЮКОВ
И МАРЮТКА.**



Это всему отряду известно. Как только приходили куда-нибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги.

Облизывая языком сохнувшие от волнения губы, тщательно переписывала стихи, над каждым ставила заглавие, а внизу подпись: Стих Марии Басовой.

Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождах. Между другими о Ленине.

*Ленин герой наш пролетарский,
Поставим статуй твой на площади.
Ты низвергнул дворец тот царский
И стал ногою на труде.*

Несла стихи в редакцию. В редакции пялили глаза на тоненькую девушку в кожанке, с кавалерийским карабином, удивленно брали стихи, обещали прочитать.

Спокойно оглядев всех, Марютка уходила.

Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать, рот расплзался от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи.

Сотрудники катались по подоконникам: мебели в редакции в те времена не было.

Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря немигающими зрачками, собирала листки и говорила нараспев:

— Значит, невозможно народовать? Необделанные? Уж я их из самой середки, ровно как топором, обрубая, а все плохо. Ну, еще потрудюсь, — ничего не поделаешь! И с чего это они такие трудные, рыба холера? А?

И уходила, пожимая плечами, нахлобучив на лоб туркменскую свою папаху.

Стихи Марютке не удавались, но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в евсюковском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при малиновом комиссаре.

Евсюков показывал пальцем:

— Марютка! Гляди! Офицер!

Марютка прищуривалась, облизывала губы и не спеша вела стволом. Бухал выстрел, всегда без промаха.

Она опускала винтовку и говорила каждый раз:

— Тридцать девятый, рыба холера. Сороковой, рыба холера.

«Рыба холера» — любимое словцо у Марютки.

А матерных слов она не любила. Когда ругались при ней, супилась, молчала и краснела.

Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастать Марюткиной благосклонностью.

Однажды ночью сунулся к ней только что попавший в отряд мадьяр Гуча, несколько дней поливавший ее жирными взглядами. Скверно кончилось. Еле уполз мадьяр, без трех зубов и с расшибленным виском. Отделала рукояткой револьвера.

Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя.

Говорила в них бессознательная нежность, глубоко запрятанная под твердую яркоцветную скорлупу курток, тоска по покинутым дома жарким, уютным бабьим телам.

Таковыми были ушедшие на север, в беспросветную зрень мерзлых песков, двадцать три, малиновый Евсюков и Марютка.

Пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Заносил мягкими коврами, ледянистым пухом увалы между песчаными взгорбьями, и над уходящими в муть и буран свистало небо — то ли ветром диким, то ли назойливым визгом крестящих воздух вдогонку вражеских пуль.

Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах, хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды.

Выдутые ветрами такыры блестели соляными кристаллами, и на сотни верст кругом небо было отрезано от земли, как мясничьим ножом, по ровной и мутной линии низкого горизонта.

Эта глава, собственно, совершенно лишняя в моем рассказе.

Проще бы мне начать с самого главного, с того, о чем речь пойдет в следующих главах.

Но нужно же читателю знать, откуда и как появились остатки особого гурьевского отряда в тридцати семи верстах к норд-весту от колодцев Кара-Кудук, почему в красноармейском отряде оказалась женщина, отчего комиссар Евсюков — малиновый и много еще чего нужно знать читателю.

Уступая необходимости, я и написал эту главу.

Но, смею уверить вас, она не имеет никакого значения.



ЛЕНИН ГЕРОЙ НАШ ПРОЛЕТАРСКИЙ,



ПОСТАВИМ СТАТУЙ ТВОЙ НА ПЛОЩАДЕ.



ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой на горизонте появляется темное пятно,
обращающееся при ближайшем рассмотрении
в гвардии поручика Говоруху-Отрока

От колодцев Джан-Гельды до колодцев Сой-Кудук семьдесят верст, оттуда до родника Ушкан еще шестьдесят две.

Ночью, ткнув прикладом в раскоряченный корень, сказал Евсюков промерзшим голосом:

— Стой! Ночевка!

Разожгли саксауловый лом. Горел жирным копотным пламенем, и темным кругом мокрел вокруг огня песок.

Достали из выюков рис и сало. В чугунном котле закипела каша, едко пахнувшая бараном.

Тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, заползающих во все прорехи. Грели ноги прямо на огне, и заскорузлая кожа ботов трещала и шипела.

Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке.

Евсюков скрутил козью ножку трясущимися пальцами.

Выпустил дым, а с дымом выдавил натужно:

— Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться.

— Куды подашься, — отозвался мертвый голос из-за костра, — все равно каюк-кончина. На Гурьеве вернуться невозможно, казачий наперло — чертова сила. А, окромя Гурьева, смотаться некуда.

— На Хиву разве?

— Хы-ы! Сказанул! Шестьсот верст без малого по Кара-Кумам зимой? А жрать что будешь? Вшей разве в портках разведешь на кавардак?

Загрохотали смехом, но тот же мертвый голос безнадежно сказал:

— Один конец — подыхать!

Сжалось сердце у Евсюкова под малиновыми латами, но, не показав виду, яростно оборвал говорившего:

— Ты, мокрица! Панику не разводь! Подыхать каждый дурень может, а нужно мозгом помуружить, чтобы не подохнуть.

— На хворт Александровский можно податься. Тама свой брат, рыбалки.

— Не годится, — бросил Евсюков, — было донесение, Деника десант высадил. И Красноводский и Александровский у беляков.

Кто-то сквозь дрему надрывисто простонал.

Евсюков ударил ладонью по горячему от костра колену. Отрубил голосом:

— Баста! Один путь, товарищи, на Арал! До Арала как добредем, там немаканы по берегу кочуют, поживимся и в обход на Казалинск. А в Казалинске фронтовой штаб. Там и дома будем.

Отрубил — замолчал. Самому не верилось, что можно дойти.

Подняв голову, спросил рядом лежащий:

— А до Арала что шамать будем?

И опять отрубил Евсюков:

— Штаны подтянуть придется. Не велики князья! Сардины тебе с медом подавать? Походишь и так. Рис пока есть, муки тоже малость.

— На три перехода?

— Что ж на три! А до Черныш-залива — десять отседова. Верблюдов шестеро. Как продукт поедим — верблюдов резать будем. Все едино ни к чему. Одного зарежем, мясо на другого — и дальше. Так и допрем.

Молчали. Лежала у костра Марютка, облокотившись на руки, смотрела в огонь пустыми, немигающими кошачьими зрачками. Смутно стало Евсюкову.

Встал, отряхнул с куртки снежок.

— Кончь! Мой приказ — на заре в путь. Може, не все дойдем, — шатнулся испуганной птицей комиссарский голос, — а идти нужно... потому, товарищи... революция вить... За трудящих всего мира!

Смотрел поочередно комиссар в глаза двадцати трех. Не видел уже огня, к которому привык за год. Мутны были глаза, уклонялись, и метались под опущенными ресницами отчаяние и недоверие.

— Верблюдов пожрем, потом друг дружку жрать придется.

Опять молчали.

И внезапно визгливым бабьим голосом закричал испуганно Евсюков:

— Без рассуждений! Революционный долг знаешь? Молчок! Приказал — кончено! А то враз к стенке.

Закашлялся и сел.

И тот, что мешал кашу шомполом, неожиданно весело швырнул в ветер:

— Чего сопли повесили? Тюпайте кашу — дарма варил, что ли? Вояки, едрена вошь!

Выхватывали ложками густые комья жирного распухшего риса, обжигаясь, глотали, чтобы не остыло, но, пока глотали, на губах налипала густая корка заледеневшего противно-стеаринового сала.

- БАСТА! ОДИН ПУТЬ, ТОВАРИЩИ, НА АРАЛ!



- А ДО АРАЛА ЧТО ШАМАТЬ БУДЕМ?



Костер дотлевал, выбрасывая в ночь палево-оранжевые фонтаны искр. Еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья.

Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой.

— Стой, не ершись!

Нагнувшись, стояла Марютка. В желто-сером дыму бурана поблескивали кошачьи огни.

— Ты что?

— Вставай, товарищ комиссар! Только без шума! Пока вы дрыхли, я на верблюде прокатилась. Караван киргизий идет с Джан-Гельдов.

Евсюков перевернулся на другой бок. Спросил, захлебнувшись:

— Какой караван, что врешь?

— Ей-пра... провалиться, рыба холера! Немаканы! Верблюдов сорок!

Евсюков разом вскочил на ноги, засвистал в пальцы. С трудом поднимались двадцать три, разминая не свои от стужи тела, но, услышав о караване, быстро приходили в себя.

Поднялись двадцать два. Последний не поднялся. Лежал, кутаясь в попону, и попона тряслась зыбкой дрожью от бьющегося в бреду тела.

— Огневица! — уверенно кинула Марютка, пощупав пальцами за воротом.

— Эх, черт! Что делать будешь? Накройте кошмами, пусть лежит. Вернемся — подберем. В какой стороне караван, говоришь?

Марютка взмахнула рукой к западу.

— Не далеко! Верстов шесть. Богаты немаканы. Вьюков на верблюдах — во!

— Ну, живем! Только не упустить. Как завидим, обкладай со всех сторон. Ног не жалей. Которы справа, которы слева. Марш!

Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодря, разогреваясь от быстрого хода.

С плоенной песчаными волнами верхушки бархана увидели вдалеке, на плоском, что обеденный стол, такыре темные пятна вытянутых в линию верблюдов.

На верблюжьих горбах тяжело раскачивались вьюки.

— Послал восподь! Смилостивился, — упоенно прошептал рябой молоканин Гвоздев.

Не удержался Евсюков, обложил:

— Восподь?.. Доколе тебе говорить, что нет никакого воспода, а на все своя физическая линия.

Но некогда было спорить. По команде побежали прыжками, пользуясь каждой складочкой песка, каждым корявым выползком кустарников. Сжимали до боли в пальцах приклады: знали, что нельзя, невозможно упустить, что с этими верблюдами уйдут надежда, жизнь, спасение.

Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы.

Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана, вскинул на изготовку. Заорал трубным голосом:

— Тохта! Если ружье есть — кладь наземь. Без тамаши, а то всех угроблю.

Не успел докричать, — оттопыривая зады, повалились в песок перепуганные киргизы.

Задыхаясь от бега, скакали со всех сторон красноармейцы.

"СОРОК ПЕРВЫЙ, РЫБЬЯ ХОЛЕРА!"



- НЕ ТРОЖЬ! .. ЗАБИРАЙ ЖИВЬЕМ.